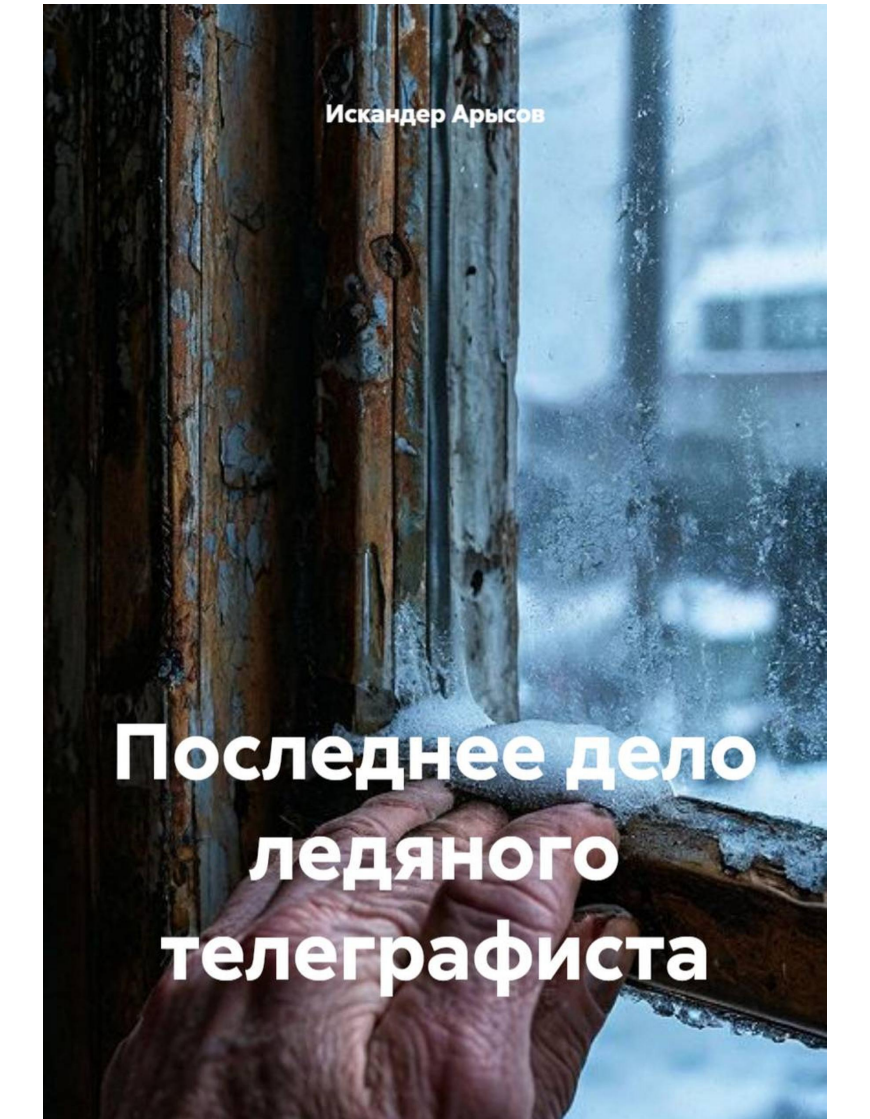




Искандер Арысов

Последнее дело ледяного телеграфиста

Искандер Арысов

Последнее дело ледяного телеграфиста

<https://litres.ru/74271387>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он был профессором, которого называли городским сумасшедшим. Он видел красоту там, где другие видели грязь. Мир над ним смеялся — и однажды он исчез. Добровольно, без прощания, оставив лишь записку на столе.

Год в Арктике. Один радиоключ. Белое безмолвие, где каждый сигнал может стать последним. Он пришёл сюда умирать — но ледяная пустыня решила иначе. Она ломала его тело, но закаляла дух. Она отнимала надежду, но дарила смысл. Здесь, среди снегов, он встретил не только смерть, но и себя.

Что происходит у радиоключа в полярную ночь? Кто платит жизнью за каждую сводку? И почему человек добровольно закапывает себя во льдах на целый год?

«Последнее дело ледяного телеграфиста» — роман-трагедия о связи, которая сильнее расстояния. О человеке, который перестал быть жертвой и стал голосом. О том, как из тишины рождается самый громкий крик. И о красоте, которая не прощает слабости — но вознаграждает смелость.

Искандер Арысов

Последнее дело ледяного телеграфиста

Пролог. Голос, который не молчит

Когда я был мальчишкой, я думал, что тишина — это когда ничего не слышно. Я ошибался. Тишина — это когда всё звучит, но ты не умеешь слушать. Я научился слушать только на седьмом десятке, когда оказался там, где белое небо смыкается с белой землёй и единственное, что остаётся между ними, — это твой голос. Твой голос, который уходит в эфир и либо возвращается эхом, либо пропадает навсегда, как камень, брошенный в бездонный колодец.

Меня называют последним ледяным телеграфистом. Это звучит почти как титул, как звание, но на самом деле это просто констатация факта: я был тем, кто сидел у радиоключа в самом сердце Арктики, когда связь с миром держалась на одних точках и тире, на одном человеческом дыхании, которое не имело права прерываться. Если я замолкал — мир на краю земли глух. Если я ошибался — кто-то мог не долететь, не доплыть, не дожить. Я не знал этого, когда соглашался на эту работу. Я думал, что бегу от своей жизни. А оказалось, что я бегу к ней — к единственно настоящей, которая ждала меня в белом безмолвии, где нет ни книг, ни картин, ни

зрителей, ни судей. Только ты и эфир. Только ты и тишина.

Зачем человека добровольно закапывали в снегах Таймыра на целый год? Зачем его оставляли одного, без права на ошибку, без права на слабость, без права даже на сон слишком крепкий, чтобы пропустить сеанс? Я задавал себе этот вопрос много раз. Сначала — с горечью, потом — с любопытством, а под конец — с благодарностью. Я понял, что нас отправляли туда не для того, чтобы мы умирали. Нас отправляли туда, чтобы мы научились жить. По-настоящему жить, без прикрас, без теорий, без чужих мнений. Чтобы мы услышали свой голос и поняли, что он нужен миру.

Я был искусствоведом. Я всю жизнь искал красоту в море, в красках, в совершенных пропорциях. Я учил других видеть её, а сам не видел ничего, кроме своих собственных иллюзий. Меня называли фанфароном, чудаком, городским сумасшедшим. Мне казалось, что мир меня отверг, и я сбежал в ту точку на карте, где мир заканчивается. Я не знал тогда, что мир не заканчивается — он просто становится другим. И чтобы увидеть этот другой мир, нужно сначала потерять свой.

Арктика не прощает слабости, но она щедро вознаграждает тех, кто готов слушать. Она научила меня, что красота — не в форме, а в сути. Что свет — не в картинах, а в том, как он падает на снег. Что любовь — не в словах, а в присутствии. Что связь — не в проводах, а в сердцах. Я приехал туда радистом, а уехал человеком, который наконец-то

услышал себя.

Эта книга — не воспоминания и не мемуары. Это — мой последний сеанс. Я передаю в эфир то, что не смог бы сказать иначе. Я говорю о тишине, которая научила меня слышать. О холоде, который согрел меня изнутри. Об одиночестве, которое стало моим лучшим собеседником. О тех, кто остался там, на краю земли, и продолжает держать связь, потому что молчание — это смерть, а жизнь — это когда ты говоришь, даже если никто не отвечает.

Я был последним ледяным телеграфистом. Но я не последний, кто держит ключ. Я просто тот, кто однажды взял его в руки и понял, что этот ключ открывает не только эфир. Он открывает тебя самого. И если ты готов услышать этот сигнал — он дойдёт до тебя. Даже через годы. Даже через тысячи километров. Даже через тишину.

Этот роман — о связи. О той единственной, которая делает нас людьми. Не той, что измеряется в герцах и ваттах, а той, что измеряется в биениях сердца. Я нашёл её там, где не искал, и теперь я хочу, чтобы вы тоже нашли её. В себе. В других. В том, как мир отзывается на ваш голос.

Слушайте тишину. Она говорит громче, чем вы думаете.

Глава первая. Эстетический фанфарон

Он стоял посреди своей профессорской квартиры, заваленной книгами по искусствоведению, и смотрел на капли дождя, ползущие по оконному стеклу. Каждая из них, думал он, могла бы быть прекрасна — если бы не грязь на раме, ес-

ли бы не серость неба, если бы не этот вечный питерский сумрак, превращающий даже дождь в нечто унылое и бесформенное. Но капли были прекрасны. Он это знал. Он всегда это знал.

Он поправил очки — старые, с трещиной на левой дужке, которую так и не собрался заменить, — и провёл пальцем по стеклу, оставляя влажную дорожку. Дорожка тут же затянулась новыми каплями, но он успел увидеть в ней изгиб, напоминающий линию руки на полотнах Рембрандта. Там, в «Возвращении блудного сына», свет падает точно так же — сбоку, снизу, создавая чувство, что человек только что вошёл из холода в тепло. Он сам сейчас был этим блудным сыном, только не возвращался, а собирался уйти.

— Алексей Петрович, — раздался голос жены из кухни, — ты опять не вынес мусор. Третий день. У нас уже мухи завелись, хотя сентябрь на дворе.

— Посмотри, как свет падает на эту лужу, — ответил он, не оборачиваясь. — Видишь, там целая вселенная. Отражение неба в грязи — это же...

— Это лужа, — перебила жена, появившись в дверях с мокрой тряпкой в руках. — И воняет от неё. И в ней утонул наш кот, когда был котёнком. Помнишь? Ты тогда чуть сам не полез в воду, потому что «котёнок был слишком красив, чтобы умирать в такой грязи». Он же просто перестал дышать от страха, а ты его откачал. И потом ещё три дня любовался его мокрой шерстью.

Он помнил. Маленький рыжий комочек, которого он вытаскивал из этой лужи, промокший и дрожащий. Но даже тогда, в тот момент отчаяния, он заметил, как красиво играет солнечный свет на мокрой шерсти, как она вздыбливается от ветра, превращаясь в подобие золотистого нимба. Он сказал об этом жене. Она не поняла. Она никогда не понимала.

— Мир должен быть красивым, — тихо произнёс он, обращаясь скорее к каплям, чем к ней. — В нашей тяжёлой жизни должно быть всё красиво. Иначе, зачем жить?

Жена фыркнула и загремела посудой. Это был их привычный диалог, длившийся уже тридцать семь лет. Она — практичная, земная, завхоз по натуре, учительница начальных классов на пенсии. Он — профессор кафедры искусствovedения, знаток Ренессанса и барокко, человек, для которого форма была содержанием, а содержание — формой. Она считала его чудаком. Студенты — занудой. Коллеги — выскочкой, который в любой научной дискуссии непременно напомним об эстетической ценности изучаемого объекта, даже если объектом был фашистский архитектурный проект сороковых годов.

— Эстетический фанфарон, — усмехнулся он, вспомнив недавнюю статью в университетской газете. Анонимную. Но он знал, кто. Молодой доцент Свиридов, тот самый, что защитил диссертацию о «функциональности советского конструктивизма», даже не заметив, какую красоту он описывает. Свиридов был карьеристом, шуплым, вечно нервным, с

прыщавым лицом и глазами навывкате, которые бегали, когда он говорил о «социальном заказе». Он терпеть не мог Алексея Петровича за его старомодные речи о «вечных ценностях», за его привычку на каждой кафедральной летучке вставлять словечко о том, что «даже график посещаемости студентов можно оформить каллиграфически красиво».

«Эстетический фанфарон», — повторил он вслух, смакуя сочетание. В нём было что-то почти поэтическое, если отбросить оскорбительный смысл. Он представил себя в образе античного героя, который возвещает о прекрасном перед толпой глухих. И в этом образе было что-то величественное. И что-то безнадёжно смешное.

Он отошёл от окна и взглянул на своё отражение в тёмном стекле. Семьдесят лет. Глаза ещё живые, серые, с искоркой, но вокруг них — сеть морщин, прорезанных, как трещины на старой фреске. Плечи сутулые, словно он всю жизнь нёс на них невидимый груз. Живот, который он никак не мог убрать, хотя каждый день обещал себе начать делать зарядку, но вместо этого садился писать рецензию или читал очередной трактат о пропорциях в архитектуре Палладио. Седые волосы, которые он носил длиннее, чем следовало бы в его возрасте — в память о тех временах, когда они были чёрными и выющимися, и когда студентки смотрели на него с обожанием, а он делал вид, что не замечает. Сейчас они смотрели с недоумением: почему этот старый профессор так долго говорит о красоте карнизов в эпоху ампира, когда на

дворе двадцать первый век и все хотят просто сдать экзамен, получить зачёт и забыть его лекции как страшный сон.

Он не был смешным. Он был не понятым. Это разные вещи. Смешным был бы тот, кто, не зная предмета, лезет с советами. Он же знал. Он знал искусство как свои пять пальцев, он мог по одному фрагменту капители определить эпоху и школу, он цитировал Вазари наизусть, он держал в голове тысячи репродукций, и всё это — чтобы в итоге услышать за спиной шёпот: «Старый дурак, он видит красоту даже в мусорном ведре».

Капли всё ползли. Он следил за одной, самой упрямой, которая никак не хотела скатываться вниз, цеплялась за микроскопическую неровность стекла, и в этом упорстве было что-то достойное восхищения. Если бы он был скульптором, он вылепил бы эту каплю из бронзы и поставил на постамент. Но он был только профессором, которого скоро отправят на заслуженный отдых, — и это слово «заслуженный» звучало как издевательство, потому что он не чувствовал себя заслужившим чего-либо, кроме презрения.

Последняя капля перестала ползти. Дождь кончился. На улице, в пятиэтажной хрущёвке напротив, зажглись окна. Каждое — как маленькая картина. В одном — женщина развешивает бельё на верёвке, протянутой через всю комнату, и мокрые простыни колеблются от сквозняка, создавая эффект движущегося полотна. В другом — мужчина читает газету, и свет от торшера падает на его лысину, делая её похо-

жей на полумесяц в новолуние. В третьем — пусто, и это пустота была самой прекрасной из всех, потому что оставляла пространство для воображения: кто там живёт, уехал ли он, умер, или просто забыл включить свет? В этой неопределённости было больше искусства, чем во всех его монографиях.

«Я мог бы написать об этом книгу, — подумал он. — О красоте обыденного. О том, что величие не в мраморе и не в фресках, а в том, как старуха переходит дорогу, держа в руках авоську с картошкой, и как ветер играет её платком, образуя складки, достойные кисти Гойи. Но кто это прочитает? Те же, кто называет меня фанфароном?»

Он подошёл к столу, заваленному неопубликованными рукописями. Рецензии на чужие статьи, которые он писал для научных журналов, и которые никто не принимал, потому что он слишком жёстко критиковал коллег за их равнодушие к прекрасному. Письма в редакции газет, где он требовал не сносить старые здания, даже если они «не представляют исторической ценности», потому что любое здание — это часть городского пейзажа, а значит, часть души. Ответы не приходили. Или приходили формальные отписки, напечатанные на дешёвой бумаге, с подписями секретарей, которые даже не удосужились прочитать его аргументы.

Всё началось три года назад, когда он публично выступил против реконструкции Невского проспекта. Он сказал тогда на заседании городского совета по культуре: «Вы превращаете нашу главную улицу в стеклянный коридор! Где благо-

родство? Где та красота, ради которой сюда едут туристы? Вы не можете просто взять и заменить исторические фасады на китайский пластик!» Он помнил, как зал замер, как кто-то кашлянул, как председатель вежливо улыбнулся. И потом он слышал, как в буфете, куда он зашёл за чашкой чая, двое чиновников перешёптывались: «Это тот самый искусствовед? — Да, наш местный Дон Кихот. Он ещё в прошлом году требовал, чтобы уличные фонари были коваными, как в XVIII веке. Представляешь, сколько это стоило бы? — Он просто сумасшедший. Городской сумасшедший». Тогда это слово впервые прозвучало в его адрес, и оно застряло, как заноза.

С тех пор оно возвращалось всё чаще. На кафедре, когда он указывал коллегам на небрежность в оформлении презентаций — слишком яркие шрифты, негармоничные цвета, — они закатывали глаза, а после его ухода кто-нибудь обязательно бросал: «Опять наш эстетический фанфарон разошёлся». Даже декан, пожилой, лысый, всегда доброжелательный, однажды в приватной беседе заметил: «Алексей Петрович, вы, конечно, блестящий специалист, но, может быть, не стоит так... категорично? Мир не обязан быть красивым. Мир — это то, что есть».

Он возразил тогда: «Если мир не обязан быть красивым, то зачем мы вообще учим искусству? Чтобы люди смотрели на картинки и плакали от умиления, а потом выходили на улицу и видели грязь, уродство, безвкусицу? Искусство

должно менять жизнь, а не быть её безнадёжным дополнением». Декан только вздохнул и похлопал его по плечу, как хлопают ребёнка, который настаивает на существовании Деда Мороза.

Особенно тяжело было в последние месяцы. Студенты, которые раньше относились к нему с уважением, теперь откровенно скучали на его лекциях. Он видел, как они листают ленты соцсетей, как переписываются в мессенджерах, как их глаза стекленеют, когда он начинает говорить о светотени в «Ночном дозоре» Рембрандта. Однажды он поймал себя на том, что говорит в пустоту — в аудитории сидело двадцать человек, но слушал его, кажется, только один, да и тот, вероятно, просто ждал звонка. Он остановился, замолчал, и тогда все подняли головы, испуганно глядя на него. «Продолжайте, Алексей Петрович, — сказала какая-то девушка с первого ряда, — мы слушаем». Но он знал, что не слушают. И в тот день он впервые вышел с лекции с чувством, что он — призрак, который говорит стенкам.

А в коридоре он услышал, как его передразнивают: двое студентов, парень и девушка, шли впереди, и парень, изогнувшись и сделав старческий голос, произнёс: «В нашей тяжёлой жизни должно быть всё красиво! Запомните, дети мои, даже если вы идёте на экзамен с похмелья, ваш галстук должен быть завязан идеальным узлом!» Девушка засмеялась, и смех был звонким, молодым, почти музыкальным, но для Алексея Петровича он прозвучал как приговор. Он оста-

новился, прислонился к стене, и почувствовал, как пол уходит из-под ног. Они даже не обернулись, не заметили его. Он был для них просто персонажем анекдота.

В тот вечер он вернулся домой и долго сидел в темноте, не зажигая света. Жена спросила, что случилось, он сказал: «Ничего, просто устал». Но внутри него что-то надломилось, как старая кость, которая уже не срастётся. Он понял, что мир, который он так любил и которому посвятил жизнь, повернулся к нему спиной. Мало того — он начал активно вытеснять его, превращать в посмешище, в «городского сумасшедшего», как те чиновники в буфете. И самое страшное заключалось в том, что он не мог перестать быть собой. Он не мог перестать замечать красоту, не мог перестать говорить о ней, не мог научиться молчать, когда видел безобразие. Это было его проклятием и его сутью.

И вот сейчас, глядя на мокрое стекло, он впервые за многие годы подумал: а что, если исчезнуть? Просто взять и уйти. Не в смысле смерти — нет, это было бы слишком драматично, почти пошло, он всегда презирал мелодраму. А в смысле — исчезнуть из этого мира, где его не понимают, где над ним смеются, где его превращают в клоуна. Исчезнуть так, чтобы они не знали, куда он делся, чтобы они гадали: умер ли он, сбежал ли с женщиной, или просто сошёл с ума окончательно. Пусть помучаются неизвестностью.

Он подошёл к книжному шкафу и взял с полки томик Родена. Раскрыл на «Мыслителе». Та же поза, которую он при-

нимал каждую ночь, глядя в потолок и думая: почему я? Почему я один вижу это? Почему все вокруг слепы? Он вспомнил, как в молодости, на стажировке в Париже, он стоял перед этим самым «Мыслителем» в саду Родена и плакал — от красоты, от мощи, от того, как бронза передаёт напряжение мышц и тяжесть дум. Тогда он поклялся, что посвятит жизнь тому, чтобы научить людей видеть такое же величие в обыденном. Теперь, через сорок лет, он понимал, что провалился. Он никого не научил. Он только раздражал всех.

«А если я уйду, — подумал он, закрывая книгу, — они заметят? Или просто скажут: „Наконец-то этот старый дурак перестал нам мозги выносить“?» И то и другое было одинаково невыносимо. Но второе — хуже. Потому что означало, что его жизнь прошла зря.

Он поставил книгу на место и вдруг заметил на нижней полке старую подшивку газет, которую жена использовала как подстилку для цветочных горшков. Одна газета была развёрнута, и он машинально скользнул взглядом по объявлениям на последней странице. Там, в разделе «Вакансии», среди предложений о работе грузчиками и уборщицами, была короткая заметка, набранная мелким шрифтом:

«Требуется радист на полярную станцию. Зимовка один год. Оплата сдельная, полное обеспечение. Требования: возраст до 60 лет (в исключительных случаях — старше), отсутствие хронических заболеваний, навыки работы с коротковолновой аппаратурой. Контактный телефон...»

Он замер. Радист? Он? Единственное, что он знал о радиосвязи — это старый приёмник «Океан», который стоял у него на даче и ловил только «Маяк» да шум коротких волн, когда наступала ночь. Он никогда не держал в руках телеграфного ключа, не знал азбуки Морзе, не представлял, как устроена антенна. Но ведь это же не профессия для профессора искусствоведения! Это для молодых, сильных, идиотов, которым нечего терять. Для тех, кто не слышал о Рембрандте.

Но в этом и была красота. В полной нелепости. В том, что мир, который отверг его эстетику, предлагает ему бежать в самую некрасивую точку на карте — в белое безмолвие, где нет ни картин, ни музыки, ни архитектуры, только снег, лёд и холод. И если он согласится, он покажет им всем: вы называли меня фанфароном? Хорошо. Я стану тем, кого вы не сможете назвать ни фанфароном, ни городским сумасшедшим. Я стану человеком, который выживает. Только вот зачем? Зачем ему, старому искусствоведу, сдаваться в плен стихии, которая не признаёт никакой красоты, кроме белой пустоты?

Он усмехнулся. Идея была безумной. Но в её безумии была своя эстетика, своя симметрия. Он всю жизнь искал гармонию — и вот она, на краю земли, где гармония достигается через абсолютный дисбаланс: один человек против всего мира, против ветра, против льда, против собственного страха.

Он взял трубку телефона — старого, дискового, который

стоял на тумбочке и работал уже лет сорок, — и дрожащим пальцем начал крутить диск, набирая номер из объявления. Каждое движение давалось с трудом, пальцы не слушались, он сбивался, проклинал свою старость. Наконец, после трёх неудачных попыток, он услышал длинные гудки, а затем — мужской голос, хриплый, с металлическим оттенком, как будто говоривший стоял в ангаре.

— Управление полярных станций, — сказал голос. — Слушаю.

— Здравствуйте, — выдавил он, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. — Я по поводу работы. Радист. На зимовку.

В трубке повисла пауза. Затем негромкий смех, но не злой, а скорее удивлённый.

— Вы шутите? Вам сколько лет?

— Семьдесят, — честно ответил он, и в этом признании было что-то освобождающее. Он больше не хотел притворяться молодым. Он был старым, и это было его оружием. — Но я здоров. И я хочу уехать. Пожалуйста.

Пауза стала длиннее. Он слышал, как на том конце кто-то переговаривается, как шуршит бумага. Потом голос вернулся:

— Приходите завтра в десять утра, на улицу Профессора Попова, 15, кабинет 312. Принесите справку о здоровье, паспорт, военный билет, если есть, и две фотографии 3 на 4. Мы посмотрим. Но предупреждаю: у нас жесткий отбор. И

возраст — это проблема.

— Я решу проблему, — сказал он и положил трубку, даже не попрощавшись.

Он стоял посреди комнаты, и всё его тело дрожало мелкой дрожью. Ему было страшно. Ему было так страшно, как не было со времён войны, которую он помнил мальчишкой, хотя сам не воевал. Но в этом страхе было нечто новое — предвкушение. Он чувствовал себя ребёнком, который впервые решился на прыжок с высокой скалы в море. Он не знал, что там, внизу. Он знал только, что обратно пути нет.

Он посмотрел на часы: половина восьмого вечера. Жена должна была вернуться через час. Он должен был принять решение до её прихода, чтобы потом, когда она будет ворчать и возмущаться, он уже не колебался. Он подошёл к шкафу, открыл дверцу и долго смотрел на свои вещи. Костюмы, купленные ещё в те времена, когда он ездил на международные конференции, — тонкая шерсть, идеальный крой. Они висели здесь, как напоминание о другой жизни, когда его мнение имело вес, когда его приглашали в Италию и Францию, когда он был не «фанфароном», а «известным специалистом». Теперь он не знал, пригодятся ли они когда-нибудь. В Арктике костюмы не нужны. Там нужны тёплые вещи, которые он никогда не носил.

Он перешёл в другую комнату, где стоял старый комод, и начал рыться в ящиках. Свитера, шерстяные носки, фуфай-

ка, которую он купил когда-то для дачи, но так и не надел. Всё это пахло нафталином и прошлым. Он сложил несколько вещей в чемодан — тот самый, кожаный, с треснувшей ручкой, с которым он ездил в молодости в командировки. Чемодан был почти пуст: он взял только самое необходимое. Всё остальное он оставлял здесь, в этой квартире, которая была ему домом, но теперь казалась тюрьмой.

Он сел за стол и взял ручку. Бумага была белой, чистой, и на ней ещё не было ни единой пометки. Он хотел написать жене длинное письмо, объяснить, почему уходит, но слова не шли. Что он мог сказать? Что он устал? Что он больше не может быть тем, кого все ненавидят? Что он хочет стать кем-то другим? Она не поймёт. Она всегда говорила: «Ты мог бы быть нормальным человеком, если бы перестал везде искать красоту». Она была права. Но он не мог перестать.

Он написал коротко: «Я уехал в творческий отпуск на год. Пишу монографию. Не ищи меня. Ты всегда была права — мир не обязан быть красивым. Но я обязан попытаться его таким сделать. Хотя бы для себя». Он поставил точку, подумал, и добавил внизу: «Прости, если сможешь». Потом сложил записку в конверт и оставил на столе, придавив мусорным ведром, которое так и не вынес.

Он взял чемодан, накинул на плечи старое пальто — единственное, что подходило для ранней питерской осени, — и вышел в прихожую. Там он задержался, огляделся. Вешалка с зонтами, половик с выцветшим узором, зеркало в дере-

вянной раме, где он каждое утро поправлял галстук. Он посмотрел на себя в последний раз. Седые волосы, морщины, сутулость. Семьдесят лет. Но глаза — они всё ещё горели, хотя в них уже не было надежды, только упрямство.

— Ты — городской сумасшедший, — сказал он своему отражению. — Ты — тот, кто видит красоту там, где её никто не видит. Ты — эстетический фанфарон. Но ты станешь арктическим волком. Или умрёшь.

Он вышел из квартиры, тихо прикрыв дверь, чтобы не разбудить соседей. Лифт не работал — как обычно, — и он спустился пешком по лестнице, держась за перила, на каждом этаже останавливаясь, чтобы перевести дух. Его сердце колотилось, но не от одышки — от восторга. Он покидал мир, который его не принимал, и направлялся в мир, который его вообще не знал.

На улице моросил мелкий дождь, тот самый питерский дождь, который он так любил за его способность превращать обыденное в акварель. Теперь он смотрел на него иначе: он видел в каждой капле прощание. Фонари горели тусклым жёлтым светом, отражаясь в лужах, и эти отражения танцевали, как призраки ушедших эпох. Он шёл по мокрому асфальту, сжимая в руке тяжёлый чемодан, и чувствовал, как каждый шаг отрывает его от прошлого.

Он дошёл до автобусной остановки и сел на мокрую скамейку, не обращая внимания на воду. Рядом стояла женщина с коляской, ребёнок в ней плакал, и женщина укачива-

ла его, напевая что-то монотонное. Алексей Петрович смотрел на них и думал: вот она, жизнь, настоящая, некрасивая, шумная, с мокрыми подгузниками и разбитыми коленками. И в ней тоже есть красота — в том, как мать склоняется над коляской, как свет фонаря падает на её лицо, делая его похожим на мадонну. Но он больше не мог говорить об этом вслух. Он научился молчать.

Подошёл автобус. Он сел, поставил чемодан у ног и смотрел в окно, как плывут мимо знакомые улицы, как неон вывесок расплывается в дождевой пелене. Он ехал на вокзал, хотя до поезда на Таймыр оставалась ещё неделя. Он просто хотел уехать из города немедленно, переночевать в гостинице, чтобы не встретиться с женой, не услышать её крик, не увидеть её слёз. Он знал, что она будет искать его, звонить в университет, поднимать тревогу. Но к тому времени он уже будет в самолёте, в том самом, который везёт его в белое ничто.

В автобусе было душно, пахло мокрой одеждой и бензином. Он закрыл глаза и попытался представить Арктику. Он никогда там не был, но видел фотографии, читал описания. Белая бесконечность, где не за что зацепиться взгляду, где нет деревьев, домов, людей, только снег и ветер. Ему казалось, что это будет идеальная среда для него — там не будет безобразных рекламных щитов, не будет уродливых стеклянных офисов, не будет людей, которые смеются над его речами. Будет только чистота, которую он искал всю жизнь. Но

он знал, что эта чистота — иллюзия. На самом деле Арктика — это смерть, замедленная, холодная, беспощадная. И он сознательно шёл навстречу этой смерти, потому что предпочитал умереть красиво, чем жить уродливо.

Он открыл глаза и посмотрел на свои руки. Старые, с выпуклыми венами, с пигментными пятнами. Они никогда не держали радиоключа. Они держали только кисти и книги. Теперь им предстоит научиться другому. Он сжал пальцы в кулак и почувствовал слабую боль — суставы ныли, напоминая о возрасте. Он не был готов к этой жизни. Но жизнь не спрашивает, готов ли ты. Она просто ставит тебя перед фактом.

Автобус остановился на площади Восстания. Он вышел, вдохнул холодный влажный воздух и направился к зданию Московского вокзала. Там было многолюдно, шумно, пахло пирожками и дорожной пылью. Он купил билет на ближайший поезд до Москвы — оттуда он полетит в Красноярск, потом пересядет на другой рейс до Дудинки. Дорога займёт несколько дней, но он не торопился. Он хотел впитать каждый момент прощания, каждую секунду, когда он ещё был частью этого мира.

Он сел в вагон, нашёл своё место у окна, поставил чемодан на багажную полку и замер. Поезд тронулся, медленно, со скрипом, и город поплыл за окном — серый, мокрый, но всё ещё прекрасный в своей меланхолии. Он смотрел на трубы заводов, на мокрые крыши, на старые соборы, которые его

учили любить, и на его глазах выступили слёзы. Он плакал впервые за много лет. Не от боли, не от страха — от благодарности. За то, что он видел эту красоту. За то, что он её помнит. За то, что он уносит её в себе, даже когда мир вокруг становится белым и пустым.

Поезд набирал скорость, и Питер таял за окном, как сон. Алексей Петрович закрыл глаза и позволил себе провалиться в дрему. Ему снился лёд. Бесконечный, ровный, как лист неисписанной бумаги, и он шёл по нему босиком, не чувствуя холода, и в руках у него был не чемодан, а старое распытие из музея, которое он однажды реставрировал. Он шёл и знал, что на том конце льда его ждёт кто-то, кто поймёт его без слов. Кто не назовёт его фанфароном. Кто просто примет его таким, какой он есть.

Он проснулся от толчка — поезд остановился на какой-то станции. За окном было темно, шёл дождь, и он уже не понимал, где находится. Но это было не важно. Важно было то, что он движется. Что он оставляет позади мир, который его отверг, и мчится навстречу миру, который отвергнет его снова, но иначе — холодом, ветром, тишиной. И он был готов.

Он достал из кармана записную книжку и на чистой странице написал: «Арктика. Зимовка. Один год. Задача — выжить. Цель — стать другим. Если не стану — значит, нечего было и начинать».

Он закрыл книжку и улыбнулся. В этой улыбке не было ни горечи, ни надежды — только спокойствие. Он сделал вы-

бор. И теперь оставалось только идти до конца, что бы этот конец ни значил.

А за окном всё шёл дождь, капли бежали по стеклу, и каждая из них была прекрасна.

Он знал это.

Он всегда это знал.

Глава вторая. Первый ключ

Самолёт шёл на посадку, и Алексей Петрович вцепился в подлокотники кресла так, что побелели костяшки. За иллюминатором была не земля — было белое ничто, которое не имело ни верха, ни низа, ни начала, ни конца. Он смотрел на это безмолвие и пытался найти в нём хоть какую-то отсылку к знакомому: может быть, это похоже на супрематические полотна Малевича, где белый квадрат на белом фоне — торжество чистоты? Но нет. У Малевича был намёк на форму, на границу. Здесь границ не было. Только бесконечная, безжалостная белизна, которая поглощала всё, включая самого Алексея Петровича, его прошлое, его имя, его звание профессора.

Он поправил очки — те самые, с треснутой дужкой, которые он забыл заменить, — и почувствовал, как стёкла запотевают от дыхания. В салоне было душно, пахло керосином и усталостью, но он не мог оторвать взгляда от окна. Там, внизу, простиралась Арктика, та самая, которую он выбрал себе в наказание или в очищение. Он ещё не решил, что именно.

Пилот объявил о снижении. Самолёт вздрогнул, попал в

воздушную яму, и у Алексея Петровича ёкнуло сердце — не от страха, а от острого чувства непоправимости. Он уже не мог повернуть назад. Поезда, пересадки, долгие ночи в гостиницах, где он не спал, а только смотрел в потолок и считал часы до вылета, — всё это осталось позади. Теперь было только это: железная птица, несущая его в край, где люди платят жизнью за каждую сводку.

Он вспомнил, как в Москве, в управлении полярных станций, его встретили с недоверием. Худой, с седой бородкой начальник отдела кадров — он же главный инженер, кажется, — долго вертел его документы, щупал взглядом его справки, его паспорт, его старые фотографии. «Вы понимаете, Алексей Петрович, — сказал он, — что у нас нет возможности провести полноценное обучение? Вы должны будете освоить аппаратуру на месте. Ваш предшественник, молодой парень, два месяца изучал теорию, пока мы искали замену. А вы... простите, но вы староваты для этого». Алексей Петрович тогда сжал челюсти и ответил: «Я учился искусству сорок лет. Я умею учиться. Дайте мне инструкции, и я разберусь». Начальник пожал плечами, подписал контракт и сказал: «Ваше тело. Ваше здоровье. Мы предупреждали».

Теперь, глядя в иллюминатор, он понимал, что слова того человека были не пустой формальностью. Арктика не прощала слабости. Арктика не интересовалась его эстетическими переживаниями. Она просто была — холодная, безразличная, вечная.

Самолёт коснулся земли — точнее, льда, покрытого тонким слоем снега, — и затормозил с протяжным скрежетом. Алексей Петрович отстегнул ремень и с трудом поднялся. Ноги затекли, спина ныла, в ушах звенело от перепадов давления. Он взял свой чемодан — тот самый, кожаный, с треснувшей ручкой, — и побрёл к выходу. Когда дверь открылась, в лицо ударил воздух такой свежести и такой стужи, что он охнул и зажмурился. Это был не тот холод, что в Питере, — влажный, пронизывающий до костей. Это был холод сухой, колючий, словно тысячи игл одновременно укололи кожу. Он втянул воздух, и лёгкие обожгло, как от кислоты.

На лётном поле его ждал вездеход — громоздкая машина на гусеницах, покрытая ржавчиной и инеем. Рядом стоял человек в меховом комбинезоне, с обветренным лицом, из-под капюшона торчали рыжие усы. Он приветственно махнул рукой и крикнул, перекрывая рёв мотора: «Профессор? Давай быстрее, а то нос отморозишь!»

Алексей Петрович заставил себя идти, хотя ноги в неудобных городских ботинках скользили по утрамбованному снегу. Он добрался до вездехода, и незнакомец подхватил его под локоть, помогая забраться в кабину. Внутри было на удивление тепло, но пахло соляжкой и потом. Водитель — тот самый рыжеусый — ухмыльнулся, показав желтоватые зубы.

— С прибытием, профессор. Я Иван Матвеевич, начальник станции. Будем знакомы. Ты, я слышал, искусствовед?

Ну, у нас тут другое искусство — не замёрзнуть до весны.

Алексей Петрович хотел ответить что-то остроумное, но зубы стучали, и слова застревали в горле. Он только кивнул, сжимая чемодан. Вездеход тронулся, и они покатили по белой равнине, которая казалась бесконечной.

Станция появилась внезапно — несколько низких зданий, облепленных снегом, с торчащими из них антеннами и трубами. Они напоминали скорее ископаемых животных, вмерзших в лёд, чем жилые постройки. Главное здание было двухэтажным, из почерневшего от времени дерева, с крошечными оконцами, за которыми горел тусклый свет. Рядом стояла радиовышка — металлическая ферма, уходящая в серое небо, с натянутыми проводами, которые дрожали на ветру.

Иван Матвеевич выключил мотор, и в наступившей тишине Алексей Петрович слышал только завывание ветра — низкое, монотонное, похожее на плач. Это был звук, которого он никогда не слышал раньше, хотя в его коллекции было множество записей симфонической музыки. Ветер в Арктике звучал как орган, но орган, играющий одну и ту же ноту веками.

— Вылезай, — сказал начальник. — Покажу твоё новое жильё.

Они вошли в тёмный коридор, где пахло деревом, мазутом и чем-то кислым, как квашеная капуста. Иван Матвеевич включил свет — тусклую лампочку без абажура, — и они

прошли в небольшую комнату. Здесь стояли койка, стол, табуретка и железная печка-буржуйка, покрытая слоем саж. На стене висел календарь с пожелтевшими листками — 1987 год. В углу темнела раковина, над которой торчал кран без ручки.

— Вот, — сказал Иван Матвеевич, — твои апартаменты. Раньше здесь жил радист Кольцов. Он уехал полгода назад, в психушку, — добавил он буднично. — Не выдержал тишины. Но ты, профессор, человек образованный, с головой — справишься. Завтра покажу тебе радиорубку. А пока — отдыхай. Ужин в шесть, в столовой. Я стучусь, не опаздывай.

Он вышел, и Алексей Петрович остался один. Он сел на койку, которая жалобно скрипнула, и огляделся. Комната была размером три на три метра, с низким потолком, на котором висели сосульки — дыхание оседало и замерзало. Он провёл пальцем по столу — тонкий слой льда покрывал поверхность. Он понял, что здесь даже внутри температура не намного выше нуля.

Ему захотелось заплакать. Но он сдержался. Он напомнил себе, что он здесь добровольно, что он бежал от мира, который его отверг, и что если он сейчас расплатится, то это будет означать, что мир победил. А он не хотел давать миру такой победы.

Он разобрал чемодан. Свитера, носки, книга стихов Ахматовой — всё это выглядело неуместно в этой камерке. Он положил книгу на стол, но она тут же заиндевила на обложке.

Он быстро убрал её обратно в чемодан, решив, что сохранит её для более тёплого момента.

Прошло несколько часов. Он слышал, как за стеной кто-то кашляет, как хлопает дверь, как ветер воет в трубе. Но главное, что он услышал, наступило позже, когда стемнело и все затихли: абсолютная тишина. Не та тишина, что бывает в городе в два часа ночи, где всё равно слышен гул машин где-то далеко. Здесь тишина была первозданная, как до рождения мира. Она давила на барабанные перепонки, заставляла сердце биться громче, потому что в этой тишине каждое движение, каждый вздох становились событием.

Он не спал. Он лежал на койке, завернувшись в два одеяла, и смотрел в потолок, где отражался свет от печки. Он думал о жене, которая сейчас, вероятно, плачет или ругается, или уже подала заявление в полицию о пропаже. Он думал о кафедре, о том, как доцент Свиридов, узнав об его отъезде, наверняка с облегчением вздохнул и сказал: «Наконец-то старый пердун убрался». Он думал о своих студентах, о том, запомнят ли они хоть что-нибудь из его лекций, или для них он останется только персонажем анекдотов.

Но больше всего он думал о красоте. Здесь, в этой ледяной пустоте, красоты не было. Было только выживание. И это было мучительно. Он привык видеть красоту в каждой детали, в каждой тени, в каждом отражении. Здесь тени были только чёрно-белыми, отражения были только в замёрзших лужах, а деталей не было — только снег, лёд и небо. Он чув-

ствовал себя художником, которого заставили писать только одной краской — белой. И он боялся, что эта однотонность сведёт его с ума быстрее, чем одиночество.

Но он не сдался. Он встал, подошёл к маленькому заиндевевшему окну и прижался лицом к стеклу. За окном была ночь, но не тёмная, а какая-то полупрозрачная, как молочный кисель. Где-то высоко дрожали сполохи северного сияния — зелёные, фиолетовые, они танцевали в небе, как забытые боги. Алексей Петрович замер. Он никогда не видел сияния вживую, только на фотографиях в журналах. И вот теперь оно было перед ним, живое, движущееся, настоящее. И в этом движении была такая красота, что у него перехватило дыхание.

— Это Боттичелли, — прошептал он. — «Весна». Зелень, которая рождается из тьмы.

Он стоял у окна, пока сияние не погасло, и в комнате снова стало темно. Но его душа наполнилась чем-то новым — чем-то, что не было ни надеждой, ни отчаянием, а просто признанием того, что даже в этой пустыне есть своя эстетика. Может быть, он не ошибся. Может быть, красота действительно везде, просто её нужно уметь видеть.

На следующий день Иван Матвеевич повёл его в радиорубку. Это была крошечная клетушка в отдельном пристрое, где стоял старый передатчик — массивная железная коробка с ламповым усилителем, вся в тумблерах и проводах. Рядом лежал телеграфный ключ — медный рычажок, потёртый до

блеска тысячами пальцев. На стене висела таблица азбуки Морзе, пожелтевшая от времени.

— Это твоё рабочее место, — сказал начальник. — Связь с большой землёй — два раза в сутки, в 10 утра и 10 вечера по местному времени. Ты должен передавать сводку погоды, принимать гидрографические данные, а также слушать любые вызовы. Если судно просит помощи — ты отвечаешь. Если кто-то ещё — тоже. Ты — уши и голос этой станции. Понял?

Алексей Петрович кивнул. Он подошёл к ключу, протянул руку и коснулся его пальцами. Металл был холодным, как лёд. Он вспомнил, как когда-то, в детстве, учился печатать на пишущей машинке — это было тоже механическое действие, ритмичное, почти музыкальное. Морзе была другой. Это была музыка, состоящая только из точек и тире, из пауз и ударов. И он должен был научиться играть на этом инструменте.

— Я дам тебе учебник, — сказал Иван Матвеевич. — Там все коды. За неделю, я думаю, осилишь. Но предупреждаю: у нас нет резервного радиста. Если ты заболеешь или не справишься, сеансы пропускать нельзя. Лучше умереть у ключа, чем молчать.

Он сказал это буднично, как констатировал погоду. Алексей Петрович посмотрел на него и увидел, что он не шутит. Начальник станции уже видел, как люди умирают здесь, у этого самого ключа, потому что не могли позволить себе за-

крыть глаза.

— Я понял, — сказал он. — Я справлюсь.

Остаток дня он провёл за зубрёжкой кодов. Точка — это «и», тире — «а», и так далее. Он повторял вслух, запоминал, как стихи. «Ах, — думал он, — вот тебе и новая поэзия. Не «Евгений Онегин», а «три точки, тире, тире». Но в этом тоже была своя ритмика, своя мелодия. Он начал придумывать ассоциации: буква «А» — точка-тире, похожа на падающую каплю; «Б» — тире-точка-точка-точка, как бабочка, взмахивающая крыльями. Он превращал скучную азбуку в картинки, и это помогало.

Вечером он впервые попытался работать на ключе. Руки его дрожали — от холода, от волнения, от возраста. Он нажал на рычажок, и раздался щелчок — резкий, металлический, нарушивший тишину. Он нажал ещё раз, вспоминая коды, и отбил своё имя: Алексей. Точка-тире, точка-точка-тире, точка-тире-тире-точка... Получилась корявая, неровная последовательность, но он слышал, как электрический сигнал убегает в эфир, как он пробивается сквозь шипение атмосферных помех, как он теряется в пространстве. И в этом бегстве было что-то отчаянное и прекрасное — как будто он отправлял в мир восточку о том, что он ещё жив.

Ночью он не спал. Он сидел в радиорубке, слушал треск в наушниках, пытался разобрать сигналы. Иногда ему казалось, что он слышит голос — не слова, а обрывки, ритмы, ко-

которые могли быть чем угодно: чьей-то мыслью, шумом звёзд, биением собственного сердца. Он знал, что это иллюзия — что эфир пуст, что в этом уголке мира никто не говорит кроме него. Но он всё равно вслушивался, потому что тишина в наушниках была ещё громче, чем тишина вокруг.

На третью ночь случилось то, что он боялся и чего ждал: он потерял чувство времени. Он смотрел на часы, но стрелки как будто застыли, хотя проходили минуты, часы, может быть, дни. Ему казалось, что он сидит здесь уже неделю, что его лицо обросло щетиной, что он забыл, как выглядит солнце. Он встал, вышел из рубки, прошёл по коридору к выходу и открыл дверь.

Снаружи было темно — полярная ночь опустилась на станцию, и не было ни луны, ни звёзд, только белая мгла, в которой можно было утонуть за десять шагов. Он сделал шаг вперёд, и снег захрустел под ногами. Ещё шаг. Он чувствовал, как ветер кусает его щёки, как холод проникает под одежду, как страх поднимается изнутри — страх потерять-ся, замёрзнуть, исчезнуть. Но он сделал ещё шаг. И ещё. Он шёл, пока не оглянулся и не увидел, что огни станции стали маленькими точками, а вокруг — только белое ничто.

Он остановился и поднял лицо к небу. Там, наверху, снова заиграло сияние, и его зелёные и фиолетовые ленты переплетались, как в танце. Он смотрел на это, и ему казалось, что Вселенная говорит с ним, что она даёт ему знак: ты не один. Ты — часть чего-то большего. Даже если ты не умеешь

видеть красоту в железе и консервах, она есть в сиянии, в ветре, в том, как снежинки кружатся вокруг твоего лица, как маленькие ангелы.

Он вернулся в радиорубку, сел за ключ и начал отбивать бессмысленные сигналы — не сводку, не слова, а просто ритм. Точка-тире-точка-тире, как дыхание, как биение сердца. Он делал это час, два, пока руки не одеревенели, пока он не почувствовал, что пальцы больше не слушаются. Тогда он остановился и посмотрел на свои руки — старые, костлявые, с пигментными пятнами. Они привыкли держать кисть, а теперь должны были привыкнуть к ключу. И они привыкали.

На седьмой день он вышел в эфир в первый раз официально. Иван Матвеевич стоял рядом и проверял его работу. Алексей Петрович отбил сводку: давление 760, температура -42, ветер северо-восточный, 12 метров в секунду. Он делал это медленно, ошибаясь, сбиваясь, но довёл до конца. И через десять минут из динамика раздался ответ — короткое подтверждение, принято. Он почувствовал, как внутри него разливается тепло, не физическое, а другое — чувство, что он не бесполезен, что он нужен, что он делает что-то важное.

Ночи становились длиннее. Он привыкал к темноте, к тишине, к тому, что его голос — единственный, кто нарушает безмолвие эфира. Он начал замечать странные вещи: как лёд на окне образует кристаллические узоры, как пар от дыхания застывает на ресницах, как свет от лампы отражается в глазах, делая их похожими на звёзды. Он учился видеть красоту

в этих мелочах, и это помогало ему не сойти с ума.

Но он также начал замечать в себе перемены. Он стал жёстче, что ли. Он перестал бояться холода — он просто надевал больше одежды. Он перестал бояться одиночества — он начал разговаривать с самим собой, вслух, как будто он был двумя людьми. Старый Алексей Петрович и новый, который учится выживать. И этот новый был сильнее, он не ныл, он не жаловался, он просто делал то, что нужно.

Однажды, в середине третьей недели, он проснулся ночью от какого-то звука. Он лежал, прислушиваясь, и понял, что это треск в наушниках — кто-то вызывал его. Он вскочил, побежал в радиорубку, нацепил наушники и услышал слабый, почти неразличимый сигнал. Это была соседняя станция, в трёхстах километрах, которая просила передать срочное сообщение о гибели собачьей упряжки. Он принял сообщение, переслал его на «большую землю» и получил подтверждение. И когда он закончил, он понял, что его руки не дрожали. Он сделал это как профессионал.

Он вернулся в свою каморку, лёг на койку и долго смотрел в потолок. Он думал о том, как изменился за эти недели. Он больше не был «эстетическим фанфароном» — здесь не было никого, кто мог бы дать ему это прозвище. Он был просто радистом, просто человеком, который держит ключ и не даёт замолкнуть эфиру. И в этом было что-то освобождающее — он мог быть собой, не оглядываясь на чужие оценки.

Он усмехнулся. Если бы доцент Свиридов увидел его сей-

час, он бы не поверил своим глазам. Профессор искусствоведения, который всю жизнь говорил о красоте, теперь сидит в ледяной будке и отбивает точки-тире, как настоящий телеграфист. Но Свиридов не увидит. Никто не увидит. Только он сам и эта белая пустота, которая становится его домом.

Он закрыл глаза и почувствовал, как засыпает. Но перед сном он подумал: красота действительно везде. Она в ритме ключа, в треске эфира, в том, как человеческий голос пробивается сквозь шум вселенной. И он, старый искусствовед, наконец-то понял, что искал всю жизнь: не форму, не цвет, не свет, а связь. Ту самую связь, которая делает человека человеком. И теперь он держит её в своих руках — в виде медного рычажка, который называли «ключом».

Он улыбнулся во сне. Впервые за долгое время его улыбка была спокойной, без горечи. Он начинал превращаться. Ещё не в волка, но в кого-то другого — в того, кто умеет молчать и слушать. В того, кто готов заплатить за каждую сводку, если нужно.

За окном снова заиграло сияние. Зелёные ленты спускались к горизонту, и на мгновение показалось, что они касаются крыши станции. Алексей Петрович не видел этого — он спал. Но если бы он проснулся, он бы сказал: «Это тоже прекрасно». Потому что он не перестал быть собой. Он просто стал больше.

Глава третья. Цена молчания

Полярная ночь пришла не сразу. Сначала дни стали ко-

роче — словно кто-то невидимый отрезал от них по часу каждое утро, оставляя Алексея Петровича с ощущением, что время сочится сквозь пальцы, как вода через решето. Он ловил себя на том, что смотрит на часы каждые пять минут, хотя прекрасно знал: стрелки движутся медленно, но неумолимо. А потом солнце просто перестало подниматься над горизонтом, и станция погрузилась в сумерки, которые длились неделями. Не было ни рассвета, ни заката — только серый, молочный свет, который не давал ни тепла, ни ориентира, только напоминал о том, что где-то там, за толщей облаков и льдов, существует другой мир, в котором люди просыпаются по утрам и ложатся спать по вечерам, и у них есть расписание, и они знают, какой сегодня день недели.

Алексей Петрович давно перестал сверяться с календарём. Он повесил его на стену, но не отмечал дни. К чему? Здесь каждый день был похож на предыдущий: встать, умыться ледяной водой, поесть кашу из концентратов, пойти в радиорубку, провести сеанс, почистить снег перед дверью, поужинать, снова сеанс, сон. Иногда он путал, был ли он вчера на метеоплощадке или позавчера. Это пугало его поначалу, но потом он привык. Он жил в этом бесконечном «сейчас», и оно перестало быть враждебным.

Его тело привыкло к холоду. Это не означало, что ему стало тепло, — нет, просто он перестал обращать внимание на то, что пальцы немеют через пять минут на улице, а дыхание превращается в ледяную корку на воротнике. Он научился

двигаться так, чтобы сохранять тепло: не стоять на месте, не делать резких вдохов, не снимать рукавицы дольше, чем на несколько секунд. Он научился завязывать шнурки на морозе, не теряя чувствительности в пальцах, — для этого он разработал особую последовательность движений, почти как танец. И в этом танце он находил свою эстетику, свою ритмику, которая заменила ему симфонии Бетховена.

Его руки привыкли к ключу. Сначала он отбивал точки и тире с запинками, сбиваясь, переделывая, как школьник, впервые пишущий диктант. Но с каждой неделей пальцы становились увереннее. Он перестал смотреть на таблицу Морзе, она осталась на стене только для памяти. Теперь он чувствовал буквы кончиками пальцев, как когда-то чувствовал клавиши рояля, хотя не играл на нём уже полвека. Он начал различать в эфире голоса разных станций: один был резким, с металлическим призвуком, другой — мягким, почти певучим, третий — торопливым, с проглатыванием пауз. У каждого оператора был свой почерк, своя манера, свой характер. И Алексей Петрович узнавал их, как когда-то узнавал почерки своих студентов, даже если те старались писать неразборчиво.

Но самое главное — его ум привык к тишине. Той особенной тишине, которая не оглушала, а, наоборот, обостряла слух, заставляя слышать даже то, чего не было: биение собственного сердца, шелест снега за стеной, треск оседающего льда в перекрытиях, шум крови в ушах. Он обнаружил, что в

этой тишине можно расслышать музыку, если прислушаться. Не ту, что играют оркестры, а ту, что рождается из вибраций самого пространства. Гул генератора, который был постоянным фоном, казался ему теперь басовой партией. Вой ветра в трубе — сольной линией флейты. Свист снега за углом — как скрипки. Он сидел в своей каморке, закрывал глаза и слушал эту симфонию Арктики, и она была ничуть не хуже, чем то, что он слышал в филармонии.

И всё же были моменты, когда тишина становилась слишком плотной. Когда он просыпался ночью от того, что ему казалось: он оглох. Он садился на койке, прислушивался, и ничего не слышал, кроме стука собственного сердца. Тогда он начинал говорить вслух, читать стихи Ахматовой, которую привёз с собой, хотя голос его звучал глухо и странно в этом ледяном коконе. Он читал: «Я научилась просто, мудро жить...» — и ему казалось, что эти слова принадлежат не поэтессе, а ему самому, потому что он тоже учился просто и мудро жить, вдали от всего, что знал раньше.

Однажды он вышел на улицу, чтобы проверить антенну, и увидел, что снегопад занёс тропинку к метеоплощадке. Он взял лопату и начал расчищать путь, но сил было мало, и через десять минут он уже тяжело дышал, облокотившись на черенок. В этот момент он понял, что его тело — это не простоместилище духа, а инструмент, который требует ухода, как передатчик требует настройки. Он вспомнил, как в молодости мог простоять на лекции четыре часа подряд, не са-

дьясь, не отдыхая. Теперь десять минут работы с лопатой выбивали его из колеи. Но он не бросил. Он продолжил, делая паузы, дыша глубоко и ровно, и к концу часа тропинка была готова. Он вернулся в дом, разделся, вытер пот и подумал: «Я ещё могу. Я ещё не сдался».

Именно в тот вечер случилось первое серьёзное испытание. Он сидел в радиорубке, ждал сеанса, но эфир был пуст. Он проверил настройки — всё в порядке, проверил антенну — цела. Он постучал по ламповому усилителю — старый аппарат иногда капризничал на морозе, но сейчас он горел ровным красным светом. Он снова надел наушники, прислушался.

Ничего. Ни шипения, ни треска, ни далёких позывных. Только молчание. Такое полное и абсолютное, что он на миг испугался: а вдруг он просто оглох? Вдруг тишина внутри его головы заглушает всё остальное? Он постучал пальцем по наушнику — звук был. Значит, аппаратура работала. Молчал только эфир.

Он начал отбивать свои позывные, как учил Иван Матвеевич. Точка-тире, точка-тире, снова и снова. Он делал это ритмично, ровно, стараясь не сбиваться, хотя внутри нарастала паника. Ответа не было. Он попробовал переключить частоту — пусто. Он проверил все диапазоны, которые знал, — ни одного сигнала.

И вдруг в наушниках возник звук. Сначала низкий, глубокий гул, как от далёкого взрыва. Потом он начал нарастать,

превращаясь в пронзительный свист, затем в треск, похожий на помехи от старой электробритвы. Гул нарастал, становился почти физическим — Алексей Петрович чувствовал, как вибрируют барабанные перепонки, как в животе появляется неприятная тяжесть. Он попытался выключить приёмник, но палец не слушался. Он просто сидел, сжав наушники, и слушал, как мир за стенами его кабины сходит с ума.

А потом, сквозь этот хаос, прорвался голос. Механический, искажённый, словно говоривший был заперт в жестяной банке и кричал оттуда, но он был человеческим. И слова были понятны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.